



Илья Бояшов

Писатель, историк. Родился в 1961 году в Ленинграде. Член Союза писателей России и Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства (2021) и премии «Национальный бестселлер» (2007), финалист Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» (2022). Книги его неоднократно экранизировались (по повести «Танкист» снят фильм Карена Шахназарова «Белый тигр»). Живет в Санкт-Петербурге.

Все не как у людей

I.

Помню утро ленинградской весны 70-го года; я юн, словно только что вылупившийся из завязи огурчик. Окна в среднеохтинский двор не просто распахнуты — первое впечатление, что рам и стекло не существует: возможно, все дело в том, что, подскочив к проему, я всем своим существом обращен на нечто другое, бесконечно интересное, бесконечно волнующее, а именно — на растущие прямо возле окна майские березы. Ночью листья раскрылись: запах новой зелени бьет прямо в нос. С шорохом летают туда-сюда какие-то птицы. На стуле — школьные пиджак и брюки, поверх красный галстук, тоже без единой вмятинки; радио голосит; утренний свет полосует направо и налево шкафы и распиливает пополам отцовский рояль. Вся стена в солнечных пятнах, словно в большой и мелкой дроби; это какая-то вакханалия золота.

Вылезаю из окна чуть ли не до пояса.

Я — словно натянутая струна.

Мне определенно хочется жить в советской стране.

II.

Дед мой по линии отца, Терентий Демьянович, интеллигент с педагогическим образованием, бывший директор сельского техникума, горбун от рождения, прибыл на Охту с семьей накануне войны и устроился сторожем: совхозные поля за Мечниковской больницей требовали пригляда.

Деду дали две комнаты в двухэтажном деревянном доме на Якорной.

Там, где по сей день принимает учеников средняя городская школа № 198 (Пискаревский проспект, 13), располагался наш огород. В начале лета 41-го бабка Валентина Гавриловна (предчувствие? крестьянская хватка?) засадила все восемь соток белокочанной капустой, не оставив места для других овощей. Капуста росла даже перед огородным забором. Знакомые удивлялись: «Зачем тебе столько капусты, Гавриловна?»

«Зачем столько капусты?!»

Эта история побуждает меня с крайним пиететом относиться к 198-й школе — место поистине сакрально.

III.

Величественная гроза, пролившаяся над Рожино в моем и так богатом на впечатления детстве, была удивительной, с глубокой и длительной прелюдией. Представьте: середина пыльного июля (именно в тот день в нашем летнем доме на даче достроили крышу), я, десятилетний малец, мой дед по материнской линии, Петр Васильевич Арбузов, и главный виновник торжества, розовощекий выпивоха, плотник Феликс. Уже вечером наша троица возвращалась с дачи в дом деда, стоявший на другой стороне рошинского холма. Перед подъемом мы завернули на рынок — в честь окончания дела дед угостил Феликса стаканом вина, которое продал нам заезжий грузин (помню, Феликс, выцедив «сухач», сплюнул и заметил, что вино больше похоже на мочу). Однако пойло взяло свое: по дороге плотник все время хвастался, расхваливая свою работу и постоянно повторяя: «У Феликса комар носу не подточит!» (надо заметить, комар нос все-таки подточил: крыша потекла во время того самого ливня).

Между тем здорово парило. Поднимаясь по склону, мы обливались потом, но холм еще скрывал от нас перспективу, правда, ощущение катастрофы уже повисало в воздухе. Птичье племя моментально заткнулось; кузнечики также перестали существовать; мир заволокла тишина, которую, впрочем, Феликс с дедом не замечали, обсуждая гонорар, ожидавший плотника в конце пути. Так мы поднялись на вершину, нисходясь уже в каком-то вакууме: ни писка, ни шороха, только потрески-

вание воздуха. Не знаю, что испытали мои спутники, увидев грозу, но лично я замер. Невозможно описать оттенки раскинувшегося над Финским заливом занавеса. Представьте себе сине-лиловые проблески по сторонам надвигающегося на нас фронта и невиданную, невероятную, сгустившуюся черноту в его центре, то и дело подсвечивающуюся изнутри, словно кто-то из божьих апостолов развлекался, дергая шнуры множества ярких ламп. Все это сверкало, набухало, искрилось, урчало. Признаюсь, наряду с тревогой меня впервые тогда охватило неизведанное ранее чувство («есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы...»).

Помню: дед задумчиво кусал травинку. Затем сказал:

— Как под Сталинградом.

Скорее всего, он имел в виду зарево оружейных выстрелов. Может быть, вспомнил нечто другое. Впрочем, участник невиданной в истории человечества бойни не стал ничего уточнять; перед нами сгустилась тьма, было поздно скрываться — да, честно говоря, мне не хотелось (не знаю, как умолкнувшему Феликсу, но, подозреваю, деду тоже).

И мы шагнули навстречу.

IV.

Петр Васильевич, маленький, жилистый, с лысой головой и большими ушами — своими повадками и характером вылитый дед Каширин из горьковского «Детства» — для окружающих расшибался в лепешку, но вот что касается родных...

Любимая его фраза, обращаемая исключительно к близким родственникам, отпечталась во мне чуть ли не с младенчества: «У вас все не как у людей». (Благодаря той немудреной присказке, до сих пор страшно хочется увидеть людей, о которых подобным образом ежедневно упоминалось. Где живут они? И в каком прекрасном далеко они обитают?)

Будучи родом из псковской деревни Высоково (три километра от райцентра Ляды), в двадцатые годы прошлого века Петр Васильевич притопап в Стрельну и поселился там. Войну прошел «от звонка до звонка» в артиллерийской бригаде.

Разговоры о жутком прошлом он пресекал на корню. Лишь от моей матушки удалось мне добиться кое-каких о нем сведений. Так, под Сталинградом получил дед единственное ранение: снаряд накрыл блиндаж. С тяжелой контузией, полуживого, его откопали товарищи, после чего гвардии рядовой трое суток беспробудно проспал.

После сталинградской баталии пришлось деду конвоировать в тыл целый батальон, состоящий из пленных женщин (скорее всего, каких-то

«хиви» на службе у немцев). Впоследствии тот случай был поводом для неоднократных насмешек со стороны моей бабки, о которой речь еще впереди.

Среди сослуживцев дед считался счастливчиком. Во время форсирования Днепра «счастливчик» намеревался проехать на мотоцикле по уже наведенной переправе. К нему в товарищи навязался один офицер: «Говорят, Петя, ты заговоренный... С тобой проскочим».

Во время проезда сидевшего позади офицера убило.

Впоследствии бригада накрывала залпами гаубиц позиции немцев под Севастополем. Затем ее перебросили в Восточную Пруссию. Последний год войны дед кашеварил, будучи «почтенным стариком» — в тридцать пять своих неполных лет. После победы шел с двумя товарищами по кенигсбергской улице; из-за угла уцелевшего дома по троице хлестнула очередь — оба приятеля пали мертвыми.

Он был в Москве — на том самом параде.

Помню: ветераны-сослуживцы, иногда навещавшие нас, приняв на грудь чарку-другую, признавались: «Петя, как хорошо ты готовил...»

Что касается послевоенной жизни — в сорок пятом, потоптавшись на стрелнинском пепелище, фронтовик направился в Облисполком. Там сказали без обиняков: «Петр Васильевич, на помощь рассчитывать нечего. Видите, что творится. Но есть выход. На Карельском перешейке финны побросали дома. Езжайте туда и заселяйтесь в любой».

Так он оказался в Райволе-Роцино.

И осел там до конца своей жизни.

Поначалу ютился в баньке рядом с финским жилищем и заселиться «к финну» стеснялся. И только когда в начале сорок шестого к переселенцу заявила семья — моя бабка, а с ней моя малолетняя мать и еще более малолетний дядя (с собой они притащили корову) — все-таки переехал. Гостивший в Роцино чуть ли ни с семимесячного возраста, я отлично помню тот дом — с просторным амбаром, с ларем в нем, полным овса, в который можно было зарывать по локоть руки, с печью на кухне и с двумя небольшими комнатами.

Во дворе бежавшие хозяева зарыли бочку. В бочке была посуда.

Финны еще надеялись вернуться, но, видно, не судьба — на хуторе поселилась своеобразная арбузовская семья.

V.

Родных дед гонял, как сидоровых коз, но обожал лошадей. До моего рождения были Ночка и Зорька. Когда родился я, с дедом трудился в роцинском Леспромхозе мерин Апсур. Верхом восторга и шика для меня

в те годы служил кабриолет — двухколесный, лакированный, черный, похожий на пианино. Любитель лошадей запрягал в него мерина в исключительных случаях. И одними из таких случаев были наши с матерью приезды на «электричке» из Ленинграда. Вызывая зависть почтеннейшей публики, вываливавшей из вагонов, дед сажал нас на кожаные сиденья, а затем Апсур, всхрапывая и резво перебирая копытами, обгонял тянущихся по шоссе дачников. На кабриолете были потрясающие рессоры, уберегающие даже от самых глубоких выбоин — мы катились до трофейного финского дома, словно цари.

VI.

Зимой Петр Васильевич на санях возил ребяташек — разумеется, бесплатно.

VII.

Он пил где-то до середины шестидесятых. Когда вываливался из телеги, Апсур останавливался и ждал отрезвления хозяина. Однажды «отрезвления» не произошло: у деда случилось прободение язвы желудка. Проходящие мимо знакомые не сомневались — Петр Васильевич соблюдает традицию, вот почему на помощь никто не спешил.

Хирург, проводя пациента, напутствовал его на крыльце захолустной больницы: «Еще одна рюмка, и наступит полная амба».

Сила воли П. В. оказалась столь велика, что крепче лимонада он более ничего не попробовал.

В Рощино любили его безотказность, однако семья по-прежнему страдала от дедовой сатраповой свирепости. Однажды, впад в ярость из-за какого-то моего проступка, предок схватил армейский ремень — бабка вовремя подставила руку. Шрам от красноармейской бляхи обезобразил ее кисть на всю оставшуюся жизнь.

Валентина Васильевна, двухметровая новгородская богатырша, была старше мужа на десять лет. Родом она происходила из богатой семьи. Первый муж, комиссар, отъявленный большевик, служил главным механиком на Балтийском заводе. Бабка тогда жила на Лиговке, в роскошной квартире с прислугой.

Это благодаря ей знаменитый бандит Пантелеев отправился в гости к дьяволу. Во время прогулки к рынку «новая аристократка» услышала выстрелы — гнались за пантелеевским подручным. Беглец уходил от погони, однако бабка вовремя подставила ногу. Скрутив упавшего и с

пристрастием допросив, оперативники вышли затем и на Ленку, благополучно его прихлопнув.

В войну Валентина Васильевна партизанила все в той же самой псковской области, куда с детьми была эвакуирована из Стрельны. Однажды сожгла госпиталь — вместе с находящимися там ранеными фрицами. За это повесили госпитального сторожа. Ее тоже поймали. Когда полицаи повезли поджигательницу на расстрел, из леса вышел мужичонка; сила его убеждений оказалась столь велика, что после короткого диспута приговоренную отпустили.

Была бабка набожной, любила гулять по вечерам по Вокзальной улице с такими же глубоко почитающими Христа соседками и ездила в церковь в Коломягах. Деда не особо боялась, во время стычек насмешливо оглядывала его сверху вниз: «Растопырил ноздри! Поди, поди сюда, попробуй задеть!» Петр Васильевич неизменно отступал, бормоча под нос свою постоянную мантру.

В том, что у «людей» все по-другому, он до конца своей жизни был глубоко уверен.

VIII.

Всего один лишь раз в кратком приступе благодушия поведал он мне о военном времени. Его бригада на переформировании отчаянно голодала. Солдаты бродили по колхозным полям в поисках овощей, собирая находки в противогазные сумки. Само собой, противогазы были давно ими выкинуты. Один полковник, решив проверить боеготовность части, на плацу неожиданно закричал: «Газовая атака!» Все машинально схватились за сумки, в которых размещались картошка и свекла.

Рассказав об этом, дед долго и как-то особенно отчаянно смеялся.

IX.

Конь Апсур тягал кабриолет, телегу и сани.

Однажды летом мерин упал.

Возница пытался поднять его — не получилось.

Прибежали мы с матерью. Было ясно, что все кончено: глаза Апсура закрыли слезы, тяжелые, как виноград.

Мы долго стояли рядом.

Каким-то образом труп коняги погрузили на телегу, и другая лошадь повезла его на живодерню.

Больше коней дед не держал.

Х.

Я видел пальцы Рихтера. Мне было семь или восемь лет, и мой отец, Владимир Терентьевич, привел меня на концерт в ленинградский Дом композитора. Я помню, как поднял Рихтер над роялем руки — и вдруг обрушил пальцы свои на клавиши, настолько мощно, настолько свирепо, что неожиданно полопались струны...

ХІ.

С отцом я общался на протяжении полувека. Вещь необъяснимая, возмутительная — не смогу припомнить хотя бы даже малую часть того, о чем мы с ним тогда говорили, о чем спорили и с чем соглашались. Все растащилось каким-то ветром, вытянулось из памяти, словно дым из трубы, кроме двух дурацких, нелепых, несмешных эпизодов, запечатлевшихся до малейших винтиков и связанных почему-то с алкоголем.

Эпизод первый: дача в Рощино, душный июль, убийственное солнце, летняя кухня, стол, отец, только что заявившийся из города (по его виду можно представить себе ад полностью забитой народом «электрички»). Сорвав с себя все потное, прилипшее, облачившись в халат, родитель садится обедать: побеленный сметаной борщ, котлеты, разбрасывающая вокруг себя осколки света рюмка (о водке замечу особо — на дне бутылки драгоценной «Московской», ожидающей отца в холодильнике, хранилась всего лишь одна ее порция, которую он, больше всего на свете боясь расплескать хотя бы грамм, в предвкушении гастрономического удовольствия и готовился употребить). Налицо сцена, которая свела бы с ума гурманов: отец, словно жрец одного из самых бессмертных культов на земле — культа еды — готов объявить приговор спиртному и уже подносит ко рту рюмочку. Ему остается зажмуриться, однако далее появляюсь я.

В чем причина столь дурацкого поступка заглянувшего на этот пир жизни второклассника? Скорее всего, в особенности головы, впитавшей в себя антиалкогольные «агитки» с небезызвестных советских плакатов. Подскакиваю к столу, вырываю из расслабленной родительской руки рюмку, отступаю к распахнутой двери и со словами: «Пьянство разрушает семью!» — выплескиваю в сад ее содержимое.

Эпизод второй: вновь лето, вновь духота, мне лет двенадцать, мы с отцом направляемся к реке с полотенцами, в которые завернуты плавики. Весь путь отец сокрушается о том, что неразумные люди бьют бутылки и оставляют стекла не только на пляжном песке, но и в воде, и категорически запрещает мне делать подобное, более того, советует не

оставлять без внимания столь опасный сор и по возможности избавлять от него пляж; я внимаю предупреждениям.

Появившись на берегу, тут же замечаю некую мужскую троицу, развалившуюся на траве. Один из кампании, воровато оглядываясь, несет к кромке берега «пол-литровочку» и втыкает ее в воду. Плоды воспитания срабатывают мгновенно: на глазах трудяг, уже разворачивающих газетные свертки с огурцами и помидорами, и ошалевшего родителя подбегаю к бутылке и зашвыриваю ее на середину задумчивой Рощинки.

XII.

Отец никогда нас не бил.

Боже упаси!

Скажу больше: никогда даже не повысил голоса.

Когда он умер, в рощинском доме, куда после его ухода переселился мой младший братец, начал звенеть колокольчик.

— Слышишь? — спросил однажды брат, переступив порог одной из комнат. — Вот!

Я услышал какой-то хрустальный, мелодичный, отлетающий под потолок звук.

— Такое случается почти каждый день, — вздохнул младший. — То ночью, то днем. Не могу найти причину. Облазил чердак, погреб, чуланы. Все осмотрел. Веришь?

Неведомый колокольчик звенел еще целый год.

XIII.

Подумать только: отец был учеником Шостаковича.

Подумать только!

XIV.

На его могиле растет трава.

Если ее не выпалывать, то вымахивает она под два метра ростом и поднимается на удивление быстро. Мы с братом и матерью вырываем ее с корнем раза два, а то и три за «летний сезон».

Удивительно — в нескольких метрах на соседних участках мох и камни. Родственникам усопших остается разве что смахнуть сосновые иголки.

Нам же приходится стараться.

Брат поливал траву какой-то химической дрянью — никакого эффекта. Трава поистине мистическая.

«Все не как у людей»...

Приходится постоянно ездить туда, постоянно «быть начеку». Стоит не навестить могилу хотя бы год — место утонет в рыжей массе, опутается стеблями, исчезнет с лица земного.

Однажды, когда мы с младшим в поту и в мыле расправлялись с травой (жарил августовский денек), на отцовскую плиту залезла ящерка.

Она долго грелась на солнце, не обращая на нас никакого внимания.

XV.

Мать пятилетней девочкой стояла на пороге погреба (1941 год, Стрельна) и видела, как всего в нескольких метрах от нее хватают друг друга за горло балтийские матросы и немецкие солдаты. То было время стрельнинского десанта.

Крошечный осколок — напоминание о том осеннем деньке — до сих пор в ней затаился.